

Василий Верещагин

Воспоминания детства.

1848-1849



Василий Васильевич Верещагин

Воспоминания

детства. 1848-1849

Аннотация

«Хорошо помню себя, отвечающего мамаше урок из географии, заданный наизусть „от сих и до сих пор“. Она, т. е. мамаша, сидит в каминной, на диване, у стола; в соседней комнате, гостиной, папаша читает газету. Я отвечаю: „Воздух есть тело *супругов*, весомое, необходимое для жизни животных и произрастания растений...“ – „Как? повтори“. – „Воздух есть тело супругов...“ Мамаша смеется. „Василий Васильевич, – говорит она отцу, – поди-ка сюда“. – „Что, матушка?“ – „Приди, послушай, как Вася урок отвечает“. Отец входит с газетою, грузно опускается на диван, переглядывается с матерью; вижу, что-то неладно. „Отвечай, батюшка“. – „Воздух есть тело супругов...“ Ха, ха, ха! – смеются оба, у меня слезы на глазах. „Упругое“, – поправляет отец, но не объясняет, почему упругое, а не супругов и какая разница между упругим и супругим...»

Василий Верещагин

Воспоминания

детства. 1848-1849

1

Хорошо помню себя, отвечающего мамаше урок из географии, заданный наизусть «от сих и до сих пор». Она, т. е. мамаша, сидит в каминной, на диване, у стола; в соседней комнате, гостиной, папаша читает газету. Я отвечаю: «Воздух есть тело *супругов*, весомое, необходимое для жизни животных и произрастания растений...» – «Как? повтори». – «Воздух есть тело *супругов*...» Мамаша смеется. «Василий Васильевич, – говорит она отцу, – поди-ка сюда». – «Что, матушка?» – «Приди, послушай, как Вася урок отвечает». Отец входит с газетою, грузно опускается на диван, переглядывается с матерью; вижу, что-то неладно. «Отвечай, батюшка». – «Воздух есть тело *супругов*...» Ха, ха, ха! – смеются оба, у меня слезы на глазах. «Упругое», – поправляет отец, но не объясняет, почему упругое, а не *супругов* и какая разница между упругим и *супругим*.

Мне было тогда 6 лет; читал и писал я уже бойко, считал тоже недурно. Время это было для нас междуцарствие

¹ *Воспоминания детства 1848–1849* относятся ко времени, когда семья Верещагиных жила в имении в деревне Пертовка, на берегу р. Шексны под г. Череповцом.

или, что то же самое, между-учительство. Наш первый гувернер Витмак, Федор Иванович, добрый, но вспыльчивый человек, рассорился с мамашею и вышел в отставку от должности учителя; он уехал в Петербург и поступил на службу в курьерское отделение.

Его я почти не помню, знаю только по рассказам няни, что он был с нею в постоянной войне из-за нас, в особенности из-за меня, хилого, болезненного ребенка.

Помню, как я из буфетной засматриваю в зал, где «новый учитель», Андрей Андреевич Штурм, из Киля только что приехавший, разговаривает с папашею и мамашею. Вижу, гладко причесан, высокий, серьезный и, должно быть, строгий, а вышло, что предобрый, хотя и немец, т. е. аккуратный и методичный. Познания его заключались в начальной арифметике и немецком языке, чему он и принялся обучать нас.

Закону божью, истории и географии учил нас, т. е. заставлял зубрить от строки до строки, Евсевий Степанович, сын нашего приходского священника отца Степана, семинарист, окончивший курс и ожидавший посвящения; он был добрый малый и занимался преимущественно с моим старшим братом Николаем и сыном одной нашей знакомой, мамашинной приятельницы, Крафковой, а также с кузиною Наташею Комаровской. Я как маленький (на 3 года младше Николая) вместе с другим сыном Крафковой приходил в их комнату ненадолго, только получить урок и ответить его; и как же

учено казалось мне заседание учителя со старшими! Я входил к ним всегда с трепетом, тем более что и сам Е. С. и ученики его не прочь были подшучивать над нами, малолетками.

Ничего не знаю ужаснее шуток и насмешек старших над младшими; мне они надолго западали в душу, и, всячески стараясь уяснить их себе, я всегда приходил к невыгодному для себя заключению, находил насмешку заслуженною, что еще более увеличивало мою природную робость и застенчивость.

Раз ровесник и тезка мой Вася, сын нашего огородника Ильи, заявил желание учиться; сказали об этом Евсевию Степановичу, и тот призвал Васю: «Ты хочешь учиться?» – «Да-с». – «Ну, говори: я умен!» – «Я умен». – «Как поп Семен!» – «Как поп Семен». – «Перекрестись!» Тот перекрестился. «Убирайся!» Тот ушел. Мы все смеялись, но сквозь смех мне было немного неловко и жаль Васю.

* * *

В памяти моей об этом времени самую выдающуюся, самую близкою и дорогою личностью осталась няня Анна, уже и тогда старенькая, которую я любил больше всего на свете, больше отца, матери и братьев, несмотря на то, что нос ее был всегда в табаке. Не то, чтобы она не сердилась и не бранилась, напротив, и ворчала, и бранила нас частенько, но ее

неудовольствие всегда скоро проходило и никаких следов не оставляло. В самых крайних случаях, например непослушания, она грозила оставить нас и уйти навсегда в деревню и действительно иногда уходила, только не навсегда, а на час времени к брату своему Иолью, жившему, помню, на въездной улице, в крайней избе; но уж моему горю в этих случаях не было пределов: я бегал за нею, держась за ее платье, до самой деревни, считал себя погибшим, плакал до боли, умолял воротиться и успокаивался не раньше, как услышавши ее слова: «Ну, ступай, батюшка, уж приду, да смотри, в другой раз не ворочусь!» И всегда, бывало, принесет, возвратясь от своих, топленого молока или чего-нибудь подобного на заешку слез.



Няня Анна

Няня всех любила, и все мы любили ее, но я, кажется, был ее любимцем, может быть, потому, что маленький был очень слаб здоровьем. С своей стороны, я любил ее так, что уж, кажется, привязанность не может идти далее.

Она сознавала пользу ученья и всегда нам об этом толковала, но к применению его относилась довольно враждебно и урывала нас из рук учителя и гувернера при каждом удобном случае; да не только с ними схватывалась, но и мамаше нашей иногда позволяла себе перечить, когда дело шло о больном *робенке*.

Все наше свободное время мы проводили с нянею, и прогулки с нею, напр., в лес, за ягодами и грибами, которые я ужасно любил, остались до сих пор одними из самых милых и дорогих моих воспоминаний.

Звали няню Анна Ларионовна, по фамилии Потайкина; фамилию ее я узнал уже позже, и она всегда звучала мне чуждо; мы знали ее только как няню Анну, а кто она такая, откуда, никогда не доискивались.

Много позже я узнал, что, рано овдовев, она была взята во двор бабушкою Натальею Алексеевною, которой и служила в Питере, а потом *досталась* папаше. Еще будучи молодою, она едва не испытала на себе ласки тогдашнего владельца, брата бабушки, Петра Алексеевича Башмакова, который, высмотревши на работах девку, приказывал обыкно-

венно старосте: прислать ее туда-то. На этот раз он велел «послать Анютку из одной деревни в другую», а сам ждал у дороги на наволоке: староста, жалея Анютку, шепнул ей, чтобы она шла другою дорогою, и дедушка на этот раз остался ни с чем, только напрасно прождал, даже и рассердиться было не на что, так как приказание его было исполнено и Анютка бегала в другую деревню. После этого дедушка, однако, еще раз попробовал познакомиться с нею поближе, подошел было как-то на работах, но она так перепугалась, что бросилась бежать со всех ног, чем заслужила от него название «дуры», за то же и освободилась от его искательств.

Впоследствии Петр Алексеевич был убит крестьянами именно за волокитство.

Анна Ларионовна вышла замуж, потом овдовела и попала в услужение к бабушке, когда к той перешли имения покойного Башмакова. Всего, кажется, пришлось натерпеться ей, и брани, и колотушек, особенно когда бабушка проигрывала в карты, а играла она постоянно. «Зато уж когда она была в выигрыше, – рассказывала няня, – я и видела сейчас, и ручку даст поцеловать, и гривенничек сунет: на, Анютка; дура, тебе, бедной, ведь некому подарить!..»